

## МАРК БЕРКОЛАЙКО

### **Жизнь между прологом и эпилогом**

Повесть

#### **Пролог, часть первая:**

#### **Александр Гройс во всей его гипертрофированности**

Пролог – как лестница, по которой поднимаешься, предвкушая.

Как время, за которое пустая сцена заполняется людьми – еще не персонажами, но уже обещающими быть ими...

Таким прологом, придуманным Александром Гройсом в конце восьмидесятых для себя тридцатилетнего, можно считать пьесу, написанную без всяких видимых на то причин.

Написанную сразу и вдруг. Названную (со всей его страстью к парадоксам) «Падение индекса Доу-Джонса» – а ведь в тогдашней трехсотмиллионной стране о биржевых индексах что-то слышала едва ли тысяча-другая<sup>1</sup>.

Главному герою Саша дал свое имя и свою же фамилию, которую перевел с идиш, изрядно гипертрофировав – Большущий. Впрочем, правильно сделал: не к Большому, но именно к Большущему могла ввалиться незнакомая девица и с порога возвестить «благую весть» о том, что они скоро поженятся. Буквально днями поженятся, ибо мессию, коим она беременна вот уже две недели, должна вынашивать не мать-одиночка, а мать-«законная жена».

А завершилась пьеса так:

*(Александр Вертинский поет: «В синем и далеком океане,/ Где-то возле Огненной Земли,/ Плавают в сиреневом тумане/ Мертвые седые корабли...», но, словно бы вопреки этой жуткой картине конца мира, постукивает, раскачиваясь, колыбелька.*

*«Их ведут слепые капитаны...» - и вдруг Саша и Мария заговорили с нами из другого времени, когда тоже казалось, что корабли человечества ведут безнадежно слепые капитаны).*

**МАРИЯ.** Он был так добр, тихий, старый плотник, что, едва увидев его, я, никому не нужная тощая девчонка, взмолилась: «Возьми меня в жены!» И он взял, и я почитала его безмерно, называя «Отец и муж мой», но когда повзрослела, греховное влечение привязало меня к чернобородому гончару. Он оглаживал груди мои, как оглаживают высыхающую глину – и чашами становились груди мои под его шершавыми ладонями.

Я зачала, а отец и муж мой радовался тому, что жена его носит в чреве своем чужого ему ребенка, и мастерила чудесную колыбельку... но Предвечному не угодно было рождение ребенка моего от гончара, мертвым родился ребенок мой от гончара, и я поклялась Предвечному, что отныне принадлежу Ему не только душою, но и телом – и никогда больше не коснется меня вожделеющая рука мужчины.

<sup>1</sup> Эта пьеса, написанная автором в 1989 году, была потом поставлена в нескольких студиях и молодежных театрах. Приятно также отметить, что одним из немногих, кто об индексе Доу-Джонса тогда не только слышал, а и знал, был легендарный мэтр Баку Алиш Джамильевич Лемберанский, опубликовавший свои заметки об истории Нью-Йоркской фондовой биржи и о принципах ее функционирования.

**САША.** Я обрадовался, когда она сказала, что зачала от гончара, ибо, по моему разумению, нет на свете ничего более грустного, чем могущее плодоносить, но не плодоносящее дерево... И опечалился, когда она сказала об обете, данном ею Предвечному. Однако не отчаялся, понадеявшись на мудрость Его.

Прошел год - и весенним лунным вечером она вернулась, захмелевшая, с веселого праздника Пурим и сразу уснула. А я возился со своими деревяшками и иногда поглядывал на жену, посеребренную светом луны. Не знаю, какая сила вдруг заставила меня подойти к ней и положить руку на ее плечо, но помню, что подивился тому, какой молодой стала моя морщинистая рука, лежащая на посеребренном плече. Подивился, а потом испугался, почувствовав, что во мне, старом плотнике, чьим рукам привычна одна только гладкость - хорошо оструганного дерева, - начало пробуждаться мужское. «Боже, - попросил я, - перестань смеяться надо мной!» Однако Господь не услышал мою мольбу, или услышал, но в необъяснимой воле Своей не захотел ей внять. И я склонился над нею и заплакал от нежности, почувствовав еще хранящийся в ее грудях аромат, по которому, отлученные во младенчестве, мы тоскуем потом всю жизнь. «Боже, - молил я, - не допусти только, чтобы она проснулась! Не допусти, чтобы она проснулась и увидела меня - старого и нелепого!» И эту мою мольбу Он услышал, и я вошел в нее, как прохладным вечером входишь в Кинерет, еще хранящий дневной зной, - и тогда нет отдельно тебя, отдельно воды, отдельно земли и неба, а есть одно, огромное, имя которому - БОГ... А спустя два месяца она сказала мне.

**МАРИЯ.** Отец и муж мой! Вот уже два раза ко мне не приходили крови. Наверное, я в тягостях, отец и муж мой!

**САША.** Что ж, я завтра же начну делать колыбельку, и она будет лучше прежней.

**МАРИЯ.** Но ты, быть может, думаешь, будто я не сохранила верность Предвечному и была с каким-нибудь мужчиной? Нет, не была, верь мне, отец и муж мой!

**САША.** «Верю!» - ответил я. «Но тогда...», - сказала она и положила мою руку на свое чрево, уже тугое в начале своего плодоношения...

**МАРИЯ.** Но тогда, отец и муж мой, наверное, я от Бога зачала непорочно? Не Божьего ли тогда сыночка буду носить в чреве своем?

**САША** (после некоторой заминки). Что ж, рассуждая логически, так оно и есть!

Александр Гройс книгочей завзятый, но о написанном до упадка Византии говорит восторженно, а о созданном позже - с неким сочувствием:

- Все эти шедевры подтверждают, увы, тот грустный факт, что мы, рожденные после гибели греко-римской цивилизации, унаследовали от варваров их вульгарную пассионарность, мешающую понять природу вещей и суть событий.

Однако, говоря «мы», явно рисовался, ибо пассионарность, - ни вульгарная, ни любящая, - ему свойственна не была, в результате чего бездействие он всегда предпочитал действию. Но неверно полагать, будто Гройс бесстрастен: ему, наряду с *холодными наблюдениями острого ума*, не чужды и *горестные заметы чуткого сердца*<sup>1</sup>, однако все это лишь тихо побулькивает в нем на медленном огне финского темперамента и под острым соусом еврейского скептицизма.

Он не закричал ни разу в жизни. Его матушка, пепельно-седоволосая сдобная блондинка из семьи обрусевших, но сохранивших чистопородность финнов, говорила, что даже грудничком он лишь кряхтел однотонно и наставительно, словно бы уча уму-разуму и ее, и все человечество разом.

<sup>1</sup> Александр Пушкин : «... Ума холодных наблюдений/ И сердца горестных замет» - вступление к «Евгению Онегину».

Зато криклив был его отец, инвалид войны, потерявший в боях 45-го, уже в Германии, правую руку – почти по плечо.

Левой так и не стал, с мстительной радостью согласившись на почти полную беспомощность.

Расписываясь, ставил вместо подписи не крест, но с трудом вычерченный *могендовид*, поясняя при этом задиристо, что, чудом выжив, поверил в Бога. Как ему, Фаддею Израилевичу Гройсу, положено, в еврейского.

Ему это прощали. Ему вообще все прощали и даже шептались в военкоматах, что только такие вот безбашенные могли почти еженощно ходить в вылазки за «языками», попутно «беря на ножи» парочку фрицев. Да и ладно, мол, что за спрос с ночного сторожа – орденосца и инвалида? И когда хилые домишки в центре города, в одном из которых он жил сызмальства и откуда отправился на войну, едва успев перед этим забежать в ЗАГС со своей сдобной невестой, пошли под снос, ему в двенадцатиэтажной башне, на этом месте выстроенной, дали аж две квартиры: двухкомнатную на него с женой, и однокомнатную – холостому сыну.

Но он все кричал, выхаркивая ярость, переполнявшую его с той самой секунды, как узнал в армейском госпитале, что правую руку, – такую сильную, хваткую и умелую, с такой красивой наколкой, – выкинули на помойку. Излился на неметчину, которая, словно бы назло ему, дивно расцвела на почве, удобренной его давно разложившейся плотью. А потому в любом слове поперек, сказанном ему дома ли, на улице, на базаре или на базе, которую охранял, представляя, будто это очередная его ночная вылазка, ему чудился окрик: «Хальт! Хенде хох, рус Фаддей! Байдес, байдес!»<sup>1</sup>

Но хрен вам! Он не отходчивый «рус Фаддей», он злопамятный еврей Фаддей, чье имя хоть и переводится с древнееврейского как «похвала», но который в одобрении вашем не нуждается, а в ответ на «Хенде хох!» мечет нож.

Что?! Нечем метать, правой руки нету?! Тогда получите мат из луженой глотки!

Гройс, стало быть, если именовать его уважительно – не просто Саша, а Александр Фаддеевич, а потому не то чтобы читит, но, по крайности, не отвергает роман «Разгром» своего почти тезки Александра Фадеева; с названием всеобъемлющим, ибо слова гром-разгром-погром рифмуются идеально; последнюю фразу которого: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности» Гройс превратил в заповедь. Достойную занять место на скрижалях Завета: «Исполняй свои обязанности **до** грома-разгрома-погрома, **во время** грома-разгрома-погрома и, если уцелеешь, то **после него**».

Долго искал обязанности, которые исполнять бы хотелось, то есть вне набора, предлагаемого детскими садами, школами, вузами, профсоюзами, партийными органами и разрешенными ими конфессиями. И рассуждал логически: «Каждый человек обязан делать что-то лучше всех живущих. Так в чем это «что-то» для меня? В шахматах? – смешно! Выше нынешнего уровня кандидата в мастера мне не подняться. В математике? – еще смешнее, коль скоро живы, слава Богу, Владимир Арнольд и Лоран Шварц! Нет, надо найти нечто такое, на что и претендовать-то никто не захочет...».

И, достойный автор «одиннадцатой заповеди», нашел это «нечто» там, куда никто никогда не заглядывал: натренировался сказочно быстро решать в уме уравнения второй степени, причем с дробными коэффициентами, причем над полем комплексных чисел, причем с извлечением квадратных корней с точностью до первого знака после запятой.

Он не поразил мир этим умением, не снискал славы – так ведь и не мечтал о ней!

<sup>1</sup> Записанное кириллицей немецкое «Стоять! Руки вверх, русский Фаддей! Обе, обе!»

Гройс возник в нашем институте, заняв не взывающую к высокому служению должность заведующего лабораторией вычислительной математики. Поясню: десятилетиями в помещении кафедры громоздились два больших сейфа с арифмометрами «Феникс» – на них группы будущих инженеров отрабатывали навыки приближенных вычислений – и одновременное функционирование двадцати пяти-тридцати железных чудищ превращало математику из тихого поиска истины в грохочущее производство ответа.

И наконец – ура! – «Фениксы» были заменены на калькуляторы, считавшиеся тогда сложными микроэлектронными устройствами, которые нельзя хранить прямо на кафедре, в торчащих у лаборантского стола сейфах. А потому оборудовали отдельную аудиторию с металлической дверью и решетками на окнах, в которой те же сейфы и разместили. Это нешумное хозяйство стало называться лабораторией вычислительной математики, при ней возник материально ответственный за сейфы и их содержимое Александр Гройс, а потом в его подчинении появились две работавшие посменно лаборантки, выдававшие калькуляторы под залог студенческих билетов или зачеток, но материально совершенно безответственные.

Однако негоже было им маячить там, где проводились лабораторные занятия по методам Гаусса, Адамса, Риччи, хорд, касательных – а потому к большой аудитории притулилась узенькая комнатка, в которую едва поместился стол заведующего, стол лаборантки, канцелярский шкаф, набитый бумажным хламом, и вешалка, вжимавшаяся в угол, как приживалка. А не вжиматься, скособоченная, не могла, ибо, не поддерживаемая с двух сторон стенами, тут же грохалась оземь с висящим на ней Сашиным пальто. Если же на вешалке вместо тяжелого пальто висела легкая дубленка, то упав, она оказывалась на полу с картинно раскинутыми рукавами – и тогда казалось, будто рухнувшая навзничь возбужденная фемина пытается объять необъятное.

Эту дубленку носила лаборантка Оксана, любовница председателя одного из районных судов нашего миллионного города. Странно, что услада сердца столь заметного человека, успевшая, кстати, получить за годы услаждения заочное юридическое образование, не стала судьей в том же суде – но то была примета советской эпохи: мифы о пуританской скромности вождей обявывали вождишек к хотя бы показной строгости нравов. Однако именно за это я на тогдашнее время не в обиде (и Гройс, полагаю, тоже), поскольку Оксана была вполне компанейской (по части выпить) и неглупой (по части пофлиртовать) барышней.

А в какую стерву-судью могла бы она превратиться – Бог весть!

Познакомившись со «свежевыпеченным» завлабом, я сразу понял, что он обладает воспетым Львом Толстым умением обеспечивать бесперебойную работу чего-то, не надоедая этому «чему-то» своим излишним присутствием – другими словами, глаза Саша никому не мозолил, но и соскучиться по нему не успевали. В частых наших разговорах он блистал цитатами, афоризмами и парадоксами, а его умение решать в уме квадратные уравнения я не поленился проверить: вел вычисления на микрокалькуляторе, но Гройс назвал ответ раньше, чем тот появился у меня на дисплее.

... Лескова почитаю великим писателем, однако его Левшу всегда жалел – как и любого, чьи способности применимы лишь в чем-то бесполезном, будь то прилаживание к лапкам дурацкой механической блохи еще более дурацких подковок или решение в уме уравнений второй степени... Все так, однако выяснилось, что еврейско-финский ригорист Саша хитрее наивного русского умельца – он все же овладел и полезными навыками. Часто слыша от него, что на месте Родины он вдвое срезал бы себе, никчemuшному, и без того нищенскую зарплату, мы однако не знали, что наш завлаб – еще и дворник в соседствующем с его домом детском садике. Что весною и летом уже в шесть утра он подметает дорожки, подбирает забытые панамки и игрушки, смывает с аляповато-сказочных домиков и уродливых ракет следы удовлетворения срочных детских надобностей.

Что зимой прокликает ночные снегопады, но в те же шесть утра убирает снег с дорожек, утаптывает площадки вокруг снеговиков и обновляет им носы принесенными из дома свежими морковками, не забывая позавтракать одной из них – слегка подмороженной и оттого еще более хрусткой.

Что благословляет затяжные дожди, делающие за дворника его нелегкую работу... но при всем при этом еще и занимается с учениками, постепенно становясь на редкость умелым репетитором.

Как Гройс понял, что именно такие обязанности есть те самые свои из «одиннадцатой заповеди», не знаю, но сейчас часто слышу истории о том, как успешно занимается он математикой и физикой с внуками тех, с кем занимался этими предметами десятилетия назад. Его бешеная востребованность зиждется на волшебном умении за два-три года сделать из безнадежно отстающих «почти отличников», а крепенькие ребятки и девчатки, пройдя его «обработку», блистают потом на олимпиадах и неформальных собеседованиях в Вышке, физтехе и МГУ.

Он бесконечно терпелив, он щедро хвалит даже тех, кто всего лишь не ошибается при умножении на единицу (похвалы, которые презирал скандалист Фаддей-отец, превратил в «гормоны роста» златоустый Фаддеевич-сын), короче говоря, Александр Гройс – это Песталоцци и Ян Амос Коменский наших дней.

В том-то и особенность нынешнего сбивчивого хода мировых часов (а бывал ли он когда-нибудь ритмичным?), что такие Гройсы получили возможность быть свободными хоть где-то: на клочочка меньше Касриловки<sup>1</sup>, финской фермы или эстонской мызы... Впрочем, дадим слово ему самому.

– Рассуждая логически, – таков вечный заповедь его речей, – люди участвуют в так называемой общественно-политической жизни лишь затем, чтобы лизнуть или укунить жопу кого-то вышестоящего.

– Рассуждая логически, – так продолжает свои речи Гройс, – для Запада традиционно невозможно первое, для России – второе, и разница между желанием облизать властительную жопу и стремлением ее укунить есть единственное отличие авторитаризма от демократии.

– Тем не менее, я люблю Россию! – так завершает недозволенные речи Александр Гройс, не желающий ни лизать жопы, ни кусать их. – Хотя бы за то, что она не мешает мне в очередной раз перечитывать Тита Лукреция Кара и решать в уме квадратные уравнения.

Обратите внимание: о том, что жизнь его наполнена полезной работой, что «хлеб» его не чьеств (а берет он за академический час занятий едва ли не меньше всех в городе), – ни слова! И ведь это не из уничижения, а именно что из гордости!

И оттого еще, что Александр Гройс – гипертрофированный парадоксалист!

## ***Пролог, часть вторая: Светлана Курбская во всей ее красе***

Нет, пожалуй, все же не во всей, ибо красота Светланы Курбской, – очередной Сашинной лаборантки, появившейся в его жизни буквально через неделю после того, как им была написана пьеса «Падение индекса Доу-Джонса», – так вот, эта изумляющая красота настолько не зависела от освещения, времени года, времени суток, погоды, портновских, куаферских и визажистских изысков, что казалось, будто где-то – в подтексте, за кулисами, за кадром – есть ее обильный источник. Альтернатива, сформулированная Николаем Заболоцким, в этом случае утрачивала «или-или», и появлялось непривычное для России «и-и» – то есть были сосуд, совершенство коего замечалось сразу, и огонь, в нем мерцающий.

<sup>1</sup>Касриловка – еврейское местечко на Украине, в котором мучились, но радовались жизни многие герои Шолом-Алейхема.

Однако теплота от этого огня не ощущалась – так не был ли он бенгальским?

– Ни в коем случае! – разглагольствовал Гройс, сам не куривший, но любивший размять язык в том уголке коридора, где смолили кафедральные. – Ведь воспевая звезды, мы не сетуем на то, что они, пылающие, не согревают нас в мороз! Вот так же, любуясь Светланой, я понимаю: пламя бушует, но «не здесь». Яркость ее глаз родом из того далека, расстояние до которого измеряется десятками световых лет.

– Ты – задержавшийся в развитии юнец! – рубанул с плеча доцент, полный тезка самого невезучего из всех русских царей. – А взрослая жизнь гласит: любая баба, хоть с яркими глазами, хоть вообще безглазая, либо уже даёт кому-то, либо скоро даст именно мне!

В том, что доцент, которому в институте давно вручили если не право первой брачной ночи, то уж бессрочную лицензию на внесезонную охоту, считает Светлану своей законной добычей, Саша не сомневался. Но втайне надеялся, что та увернется и от одиночных выстрелов умелого охотника, и от его же веерного огня. И радовался, зная, что пока уворачивается – ведь «попадание» могло состояться только на холостяцкой квартире самого Гройса, ключ от которой всегда женатый и горько о том сожалеющий тезка царя уже целый месяц не просил...

А в конце концов хмуро поведаль:

– Дала. Но по морде. Так что теперь атакуй ты, Керубино хренов! Вы с нею два сапога пара, авось спаритесь!

И, утешившись этим нехитрым каламбуром, отправился читать лекцию.

Поздоровался, но Курбская не ответила, и он понял, что не ощущаем ею ни как физическое тело, ни как начальственный голос.

Она сидела за столом у окна лаборантской и, оторвавшись от книги («Опять какой-нибудь роман, да еще и на английском» – понял Гройс), вглядывалась в просвет между двумя институтскими корпусами так, будто ждала появления чего-то очень важного.

То был очень узкий просвет, но он все же позволял «вклеить в кадр» трамвайную остановку, отчего ожидание не казалось таким уж безнадежным – и когда два сцепленных вагона, наконец, подкатили, Светлана подалась к окну так, будто бросилась в один из них.

В первый, наверное, подалась от лаборантской, к которой была приписана, да и вообще от всего, не способного к движению...

Вагоны же, подхваченные благословенной силой электричества, укатили куда-то за кадр, к невидимому мосту, к другому берегу... вот и следующий трамвай тоже укатил без нее... а Гройс, наблюдая за этими «попытками бегства» куда-то, где жизнь, несомненно, иная, вот только рельсы по ней проложены все те же, думал, что сравнение Светланы с пылающей звездой было навеяно ему Космосом.

Что он, безусловно, найдет когда-нибудь более точное сравнение, но сейчас вдвойне обязан рассуждать логически, ибо в поле его зрения возникла женщина «не от мира сего». Потому обязан, что от такого возникновения и сам он стал «не от мира сего», а значит, замена прежней жизни-бездействия на новую жизнь-действие неизбежна.

И, повесив пальто на припавшую к одной из двух стен угла вешалку, Гройс приземлился не за свой «руководящий» стол, а подсел к лаборантскому. Машинально прочитал на обложке книги «To the Lighthouse»<sup>1</sup>, и, положив свою руку вплотную к ее руке, будто бы устремился к тому самому маяку.

Но Светлана отодвинулась, прикинув к стене не хуже вешалки, и, сделай Саша еще одну попытку чем-то как-то соприкоснуться, она, несомненно, вспрыгнула бы на

<sup>1</sup>Вирджиния Вулф «На маяк» – один из самых выдающихся романов в мировой литературе.

подоконник. Однако никакого соприкосновения больше не случилось, ибо Саша понял: доцент, тезка царя, признанный стратег сексуальных агрессий, недоучел, что даже если Светлана – сапог, то он, Гройс, – валенок, а потому ей заведомо не пара.

Тут прозвучал вопрос:

– Если вы, Александр Фаддеевич, хотите сделать мне предложение, то нельзя ли обойтись без нелепых телодвижений?

Саша собрался ответить с обезоруживающей правдивостью, что предлагает в ближайшую субботу сходить в кино, потом посидеть где-нибудь, а потом поехать на пару часиков к нему. Нет, конечно, можно и на три часика, но она же все равно скажет, что слишком поздно, и ее матери и дочери пора укладываться спать; есть, правда, вариант заполучить этот несчастный третий час за счет отмены кино, но ведь фильм, каким бы убогим он ни оказался, даст благодатную тему для разговора в кафе или в ресторане, а о чем с нею говорить без темы, подаренной самым массовым из искусств, он не знает, ибо за три месяца совместной работы ни на одну его шуточку, ни на один парадокс она не хихикнула и даже не улыбнулась; конечно, рассуждая логически, можно не тратить время на кафе или ресторан, но тогда придется готовить ужин самому, при этом тема для беседы появится неисчерпаемая: пересолил? переперчил? перетомил на огне или в маринаде? однако если его стряпня ей не понравится, то его же старания в постели не понравятся после этого вдвойне...

И не успел, по вечной медлительности своей, сказать ни слова, она опередила:

– Я имею в виду предложение руки и сердца.

Конечно, особо азартные особы – из тех, кого раньше называли «огонь девка», а ныне переименовали в «зажигалок», постреливали в Гройса глазками и подрагивали рядом с ним попками, то есть экспериментировали, снабемые любопытством: неужели возможно и эту флегму раскошегарить, и этот сухарь разжевать? Убеждались, что да, можно. Раскошегаривали, разжевывали... и выплевывали. И Гройс на них не обижался, поскольку понимал, как бесит их то, что словоизвержение после оргазма доставляет ему удовольствие едва ли не большее, нежели не-слово-извержение во время оного.

А потому, услышав **такое**, воззрился на Курбскую потрясенно. Что это, она считает их пожизненный союз в принципе допустимым?! О, будь у него красивый баритон, он спел бы, как Онегин: «Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел...», однако ни баритона, ничего-то другого внешне красивого у него не было, а хорошие мозги – они внутри...

Поэтому не запел, а заговорил – правда, серьезнее, чем обычно.

– Света, долгое время мы с матерью думали, что странности отца – из-за его инвалидности. Но лет десять назад попался умный врач, который предположил, что все отцовские подвиги и ордена не только оттого, что он – прирожденный человек войны; что потеря руки наложила на какие-то его наследственные шизоидные отклонения и усилила, удвоила в нем сталинскую страсть к тиранству, сталинскую неспособность жалеть и сочувствовать. Мама умерла год назад, а перед смертью рассказала, что он в первый же вечер знакомства ее фактически изнасиловал, прижав к какому-то забору и едва не придушив. Правда, наутро поволок в ЗАГС, что, впрочем, было еще большим насилием. В любви объяснился так: «Не скули и не дрейфь, со мной не пропадешь!» – и на этом его запас добрых слов для нее, для меня, да и вообще для всего человечества был исчерпан. Когда понял, что у нее рак, проворчал: «Сбегаешь?! Надоело мне борщи варить и жопу подтирать?» – и прощание с женой, с которой прожил пятьдесят лет, этим ограничилось. Нам с нею повезло, как кощунственно бы это ни звучало, что рука у него была одна, а то частенько бы нам быть битыми... В общем, после разговора с тем врачом провел я исследование и обнаружил, что подобная патология в отцовском роду встречалась довольно часто. Вот так... Ясно, что я – в мать. Но, рассуждая логически, не исключаю, что пока в

мать, что гены отца вдруг могут проявиться. А уж о детях мне и думать запрещено... Стало быть, предложение руки и сердца я вам никогда не сделаю. И никому не сделаю.

Не знал, что еще сказать, да и не понадобилось – заговорила она:

– Александр Фаддеевич, у меня не было больших надежд на мой прежний брак, и когда он выродился в абсолютную пошлость, я спокойно и без надрыва решила: чем так, лучше никак. Но знаю, что в нашем гипотетическом союзе вы были бы идеальным мужем, а я – идеальной женой. К несчастью, этот союз невозможен...и, как говорится: «Ну что же? Прикажете плакать? Нет так нет!»<sup>1</sup>. Спасибо за откровенность и честность, но так же честно предупреждаю, что вне брака отношений с мужчиной, даже с таким добрым и умным, как вы, для меня не существует. Если считаете, что после этого разговора работать нам вместе будет трудно, то готова уйти.

... – Символично, что ты вспомнила о рыжем Мотэле из Кишинева, – Гройс теперь почти шептал, – из города, в котором в начале века разгулялся гром-разгромпогром. Еще символичнее, что мы с тобой одинаково увешаны отлитыми из одиночества и неприкаянности веригами<sup>2</sup>, что они одинаково тяжелы для нас обоих, а их позвякивание звучит в наших ушах одинаково тоскливо...

И хотя слова шелестели неразборчиво, она услышала все сказанное и поняла все недосказанное.

«Под каждой крышей свои мыши» – это, пожалуй, лучшее, что можно сказать о многообразии судеб, каждая из которых имеет оттенки, способные превратить «сюжеты для небольших рассказов» в захватывающие новеллы.

У отца Светланы Курбской, ведущего конструктора на предприятии, выпускавшем двигатели для третьих ступеней ракет-носителей, «мыши» попискивали о том, что родом он не из «простых крестьян», как излагал в анкетах, а является дальним потомком князя Андрея Курбского, некогда получившего от грозного русского царя проклятье, а от легкомысленного польского короля рыцарство и обширные земли на Волыни: много болот, еще больше лесов и мало угодий<sup>3</sup>.

Мать Светы, технолог на том же секретном заводе, умоляла мужа о таком происхождении забыть, дабы люди из «первого отдела» правду о происхождении в его глазах ненароком бы не прочитали. Но ведь и самой нужно было изо всех сил стараться не слышать шуршания своих «мышей» и не помнить, что ее собственные родители, коих она в анкетах называла буровым мастером на бакинских нефтепромыслах и домохозяйкой, были из молокан<sup>4</sup> – в Закавказье это считается совершенно нормальным, а в бдительном Воронеже могло аукнуться.

Итак, осторожно помалкивая, семья жила в двухкомнатной «сталинке» на третьем этаже расположенного на тихой улице дома – одного из тех, по тем временам роскошных, что образовали разве что не обнесенный забором микрорайон почти «секретных» работников завода. В школе Светка-Света-Светлана слыла, как говорил в популярном фильме истекающий сладострастием актер Этуш, спортсменкой, комсомолкой, отличницей – но не «просто красавицей», а красавицей на уровне мифов и легенд. В общем, чудом из чудес она не только слыла, но и была!

<sup>1</sup>Иосиф Уткин «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, равнине Исаяе и комиссаре Блох».

<sup>2</sup>Вериги – цепи и кольца, которые носили на голом теле монахи-аскеты.

<sup>3</sup>Когда Иван IV начал безжалостно преследовать своих бывших друзей и соратников, реформаторов Алексея Адашева и дьяка Сильвестра, князь Андрей Михайлович Курбский, полководец изумляющей храбрости и мастерства, явленных им во время завоевания Казанского ханства и в битвах первого, счастливого этапа Ливонской войны, вынужден был бежать в Польшу. В письмах царю он гневно обличал его тиранство и жестокость, что и позволило некоторым историкам называть князя «первым русским диссидентом».

<sup>4</sup>Молокане – последователи одного из направлений так называемого духоборства (духовного христианства). В Российской империи были отнесены к «особенно вредным ересям», преследовались, и в первой половине XIX века началось их массовое переселение в Закавказье. Название направления связано, по-видимому, с тем, что его последователям разрешено пить молоко и в дни постов.



И родители, ослепленные дочерью, перед самым выпускным, – словно бес их попутал! – рассказали ей, что чудесность ее есть результат удачного смешения кровей Рюриковичей, польских магнатов, русских духоборов и неведомых им красавцев-азербайджанцев...

Что ж, если они хотели, чтобы у дочери изменились и крыша, и мыши, и судьба; если они намеревались, как сейчас говорится, вынести ей мозг, то это вполне удалось: прежний, наполненный советской фальшью, был взрывом самосознания вынесен, а вместо него появился другой, собранный из стойкого неприятия тиранства (спасибо вам, князь Андрей Михайлович!) и внешне незаметного, но упорного отворачивания к власти любых иерархов – хоть комсомольско-коммунистических, хоть церковных (а за это поклон предкам духоборам!).

Первым следствием чего был категорический отказ, хотя платье уже было сшито и босоножки куплены, пойти на выпускной, где ей должны были под дружные и чуть завистливые аплодисменты вручить золотую медаль. И аргумент был таков: «Противно пить, когда не хочется, есть, что не хочется, танцевать, с кем не хочется. Давайте лучше проведем эти дни на природе».

И с той самой минуты, относясь снисходительно к людским грешкам типа лжи во спасение, алкоголя ради забытья, адюльтеров от пустоты бытия и курения за компанию, для себя все это исключила. И это не был постриг – просто решила, что *noblesse*, действительно, *oblige*<sup>1</sup>, стало быть, допустимое для быка недопустимо для Юпитера.

На турбазу, куда они трое приехали, а точнее, под благовидным предлогом сбежали от выпускного, вскоре примчался и Олег, сын главного конструктора ракетного завода. Окончив год назад ту же, что и Светлана, школу, он окончательно уверовал, что удался в мать и способностей к чему-либо логичному и точному у него нет. Зато склонности мчать, глиссируя, по водам комсомольско-партийной болтовни – хоть отбавляй, а потому поступил не в политех, о чем мечтал отец, а на истфак университета.

Ухаживать он умел, и там же на турбазе Светлана согласилась выйти за него замуж. Но не то стало главным, что избранник не противен, не глуп и не беден, а то, что в «прежней», не наполненной аристократизма духа жизни она с ним уже целовалась и даже допустила один раз, чтобы все было. А потому *noblesse*, о котором узнала всего неделю как, обязывало если не к самопожертвованию, то хотя бы к комприссу.

Родителей Светланы её выбор сделал счастливыми; родители Олега не протестовали – избранница, несомненно, хороша и сословно своя. Но два условия все же выдвинули: учиться невеста должна чему-то одновременно и светскому, и практичному – что? факультет романо-германской филологии? годится, иностранные знать полезно, коль скоро старчески безмозглые вожди перемёрли, и повеяло, наконец, очередным «*liberte*». И второе: не оставаться Курбской – слишком звучные фамилии хороши для прославленных первых: Королев, Гагарин, Леонов; «Чернорукова» же гораздо скромнее, но пригодно как раз для надежных вторых!

Во Дворце бракосочетаний она разрыдалась. Некоторые присутствующие умилились возвращению доброй традиции: как же девушке уход из отчего дома не оплакивать? – и только мать догадывалась, как разрывала сердце Светланы необходимость превратиться из Курбской в Чернорукову, потерять ощущение знатности рода и своего долга перед ним. Любви же, помогающей подобной ране зарубцеваться, не было – и чем горячее были поздравления, чем богаче подарки, тем сильнее ощущалась Светланой временность этого брака.

Однако поначалу все складывалось превосходно: двухкомнатная квартира в

<sup>1</sup>*Noblesseoblige*(франц.) – благородство (благородное происхождение) обязывает.

одном из все тех же домов, месяцы необременительной беременности, во время которой были с чарующей легкостью осилены два (!) курса РФФ, конечно, без привычных пятерок, но вполне достойно, – и вот она, дочка Варька, которая пищит и плачет так музыкально, что чудятся лучшие залы мира и дочь... за роялем? за дирижерским пультом? поющая «Casta Diva» лучше Марии Каллас (если это возможно)? – но какая разница, главное, что царящая и блистающая... ах, какая все же жалость, что не Курбская, а Чернорукова! А муж, Черноруков-младший, перешедший на заочный и уже глассирующий в одном из райкомов комсомола, по-прежнему не противен и не глуп, вот только больше прежнего чужой, чуждый.

Еще три года минуло, комсомольцы уже вовсю заколачивали деньги, поставляя в страну компьютеры, оргтехнику и контрафактный коньяк «Наполеон», а Олег все глассировал... И весной 1989-го, когда они, собравшись в кои-то веки в кино, проходили мимо здания, в котором областные заместители тщетно пытались сомкнуть пальцы, дабы власть не сыпалась из их пригоршней, как прокаленный солнцем песок, муж, залоснившись от самодовольства, сказал:

– Знала бы ты, скольких комсомолок здесь перетрахали!

– В том числе и при твоём участии? – холодно поинтересовалась она.

– Вот-вот! – взвился Олег ожидаемо... знала ведь, как такой её тон его бесит.

– Даже из ревности не спускаешься со своего пьедестала, торчишь на нём, как этот еврей-монголоид на своём! – и указал на памятник, традиционно водруженный перед традиционно помпезным зданием.

Она мысленно прочертила прямую в направлении, указываемом бронзовым вождем, и понеслась по ней, как невидимый самолет. Набрала высоту довольно быстро и увидела на вершине аристократического духа плакат: «Скоро опять станешь Курбской!» – свеженький такой плакат, гораздо более яркий, чем привычные и уже потускневшие «Слава КПСС!».

... То было время, когда всё провозглашаемое с трибун оборачивалось прямой своей противоположностью. «Ускорим развитие экономики!» – и та раз за разом получала несовместимые с жизнью раны; «Сохраним Советский Союз!» – и тот укладывался в гроб с пугающей мир поспешностью. Зато обещание, данное плакатом Светлане, выполнилось в точности: ранним летом того же года, вернувшись с дачи не семичасовой, а пятичасовой электричкой, она обнаружила мужа в постели с комсомолкой невысокого, прямо скажем, пошиба. «Уровень райкома! Все, что получше, разбирают обком и горком», – подумала мельком, а вслух сказала:

– Продолжайте, продолжайте! Не буду вам мешать.

И принялась собирать вещи. Варькины и свои.

С того дня видела Чернорукова-младшего всего один раз – в суде, где их развели, а ей позволили обрести прежнюю фамилию. Зато в родительскую квартиру, куда она вернулась с Варькой, часто приходил Черноруков-старший. Деда – генеральный и ведущий конструкторы – отправлялись с внучкой гулять, радуясь её баловству не меньше, чем безотказной работе третьих ступеней; потом сидели за рюмочкой и толковали-горевали о том, что ракетное двигателестроение хиреет. А когда окончательно захирела и страна, ведущий конструктор признался генеральному в княжеском своем происхождении.

– А! – прореагировал тот. – Теперь понятно, откуда в Светке твоей столько горора. Нет, мы, Черноруковы, ей не ровня, ведь сколько раз жена меня на шашнях ловила, пару чашек-тарелок в морду запускала – и как не было ничего.

– А! – прокомментировал Курбский. – Теперь понятно, в кого твой Олег такой ходок... Но почему, кстати, алименты от него скудные?

– Потому что он – вечно нетрезвое ничтожество. Но не горюй, я уже для Варьки-Светки довольно много отложил. В валюте. Зря я, что ли, генеральный?

– Да и я кое-что успел, – ответил ведущий, – зря ты, что ли, премии мне не по чину выписывал?

... Но вскоре умерли, почти в один день, и в этом им повезло – не увидели, как завод, которому за третью ступень сам Гагарин после полета спасибо сказал, стал урядным, а потом полудохлым.

А вот Светлане и матери ее пришлось тяжело, и хотя накопленная дедами валюта позволяла в нищету не свалиться, бедность стала привычной.

Еще через четыре года в какой-то пьяной разборке был до смерти забит Олег... казалось бы, мать его, потеряв мужа и сына, должна была бы сблизиться с Варькой, ее бабушкой и матерью – но нет, предпочла продать роскошную воронежскую квартиру, вполне достойный загородный коттедж и перебраться в Москву, к сестре, вдове одного из тех советских маршалов, кто воевал средненько, зато умел восторженно вспоминать о героизме Брежнева.

А Светлана, со своим никому не нужным дипломом РГФ и в провинции мало применимым оксфордским английским, устроилась работать под Сашино крыло, точнее, при Сашиной бескрылости.

Впрочем, кажущейся бескрылости, поскольку учеников у него становилось все больше... правда, в лаборатории появлялся все реже – да и кому они были нужны, его появления? Им, как ни странно, бурно радовалась только Оксана, изливавшая Гройсу свою изболешуюся душу.

– Мой-то-о-о, – жаловалась она, почему-то раскачиваясь при этом, как еврей на молитве, – чем больше на взятках богатеет, тем мне с ним труднее-е-е! Раньше боялся меня людям показывать, а теперь, когда всем все по фиг, с женой развелся, и свобода моя тью-тью-ю-ю! У России ее появилось жри – не хочу, а у меня – дефицит, прикинь! Вот ведь душой была, когда его пилила, что со мной нигде, кроме койки, не быва-а-ет! Царапало, видишь ли, что со своей законной везде таскается, но ведь и у меня самой была тогда возможность пошалить. Да хоть с тобо-о-о-й, если б припичило-о-о! А теперь подыхаю от скуки на судейских-прокурорских тусовках, адвокатов на них не зовут, а они ребята-то суперские, было б с кем и язык почесать, и перемигнуться. И ревнив-то как стал козел мой старый, того и гляди, слезку за мной устано-о-о-вит! Но я ж умная, Гройс, я придумала пристроить Светку к какой-нибудь другой «вашей чести», чтоб ходить потом на те тусовки каждая со своим козлом, но вместе. – Тут ее причитания и качания закончились, и она зачастила, как профессиональная сводница. – Подговорила друга сердечного, подкатил он как бы случайно с одним бугром из областного суда, и повезли мы Светку домой, якобы по дороге. Бугор водителя отправил восвояси, сам сел за руль и подругу мою рядом посадил. Помолодел, прикинь, лет на десять: тачку ведет, как Шумахер грёбаный, Светке комплименты отвешивает, а она возьми, да и спроси: «Сколько вы за свою карьеру оправдательных приговоров вынесли?» Бедняга аж икнул от неожиданности: «Ни одного, – блеет, – а зачем?» «Ну, раз незачем, тогда остановите машину, я выйду!» И вышла. И пошла. Курточка старенькая, джинсы дешевенькие, на сапоги без слез не взглянешь, а все встречные мужики, на нее взглянув, спотыкаются. Не знают, дурни, что красоты у нее на миллион баксов, а бабского ума – ни на цент!»

В 95-м Гройс из института ушел, здраво рассудив, что маячить там за прежние скудные, а теперь еще и часто задерживаемые деньги незачем. Готов был пойти хоть чернорабочим на стройку, но вот что удивительно: чем быстрее из-под ног народа уплывала почва, тем сильнее он цеплялся за прежние мифы о неких знаниях, которые неведомо как, но чудодейственно вывезут, вытащат, спасут. И даже самый тупой криминал начинал верить: «бабки» работают только тогда, когда что-то «петришь», например, в области финансов и кредита.

В общем, не «Учиться, учиться и учиться!», как завещал Ленин, но «Знать, знать и знать!», как вколачивала жизнь.

Но что именно знать, кроме входящих в моду астрологии, хиромантии и черной магии? – и тут Гройсу, как ни странно, помогла бывшая советская школа. Эта покойница так успешно прививала ребятам почтительный страх перед математикой, что, изживая былые комплексы, все торгующие, ворующие, «кидающие» и «обувающие» жаждали научить своих деток и внуков этим клятым «иксам» и «игрекам».

Еще английскому – и Саша часто думал о том, какой бы славной обучающей парочкой они со Светланой стали бы...

Но какое там! Изредка сталкиваясь в лаборатории, они и смотреть друг на друга избегали, помня, как угнетающе безнадежны были их взаимные признания.

И он ушел из института, даже не попрощавшись...

### ***Между прологом и эпилогом: общая крыша, общие мышцы, общая судьба***

Восьмидесятилетний орденоносец Фаддей Израилевич Гройс был избран габаем – старейшиной недавно отреставрированной синагоги. Вознесенный на эту вершину, он приравнял свой былой героизм к неукоснительности в соблюдении повелений и запрещений иудаизма, в результате чего каноны кашрута, шабата, Песаха и прочего обратили на себя всю его яростную категоричность. И если, орал он Саше, одни еврейки из «Хэсэда»<sup>1</sup> вычищают до блеска его квартиру, а другие хлопчут у плиты, то он, недостойный сын-полукровка, обязан, бросив никчемные свои дела, искать то, что считается кошерным.

Вот Саша и искал, унаследовав от матери ее желание «выскочить из окопа» – пусть просто из дома, пусть даже навстречу смерти, лишь бы прочь от разрывающих барабанные перепонки воплей.

Искал – и весной 2003 года, перебегая из гастронома в гастроном, был схвачен в объятья выпрыгнувшей из роскошного авто дамой.

– Ну, ты – тормоз, Гройс! – хохотала Оксана. – Это же я! Пять лет, как «мадам его честь»! Здорово экстерьер улучшила?!

Замечательно улучшила! – и Саша не отказал себе в удовольствии пообниматься с ароматной феминкой, следя все же, чтобы его раздутые пакеты не касались ее светлого пальто. Но она, воздадим ей должное, на такую ерунду внимания не обращала: потряхивала бывшего своего начальничка и награждала его любовными ту-маками холеных кулачков.

– Как же я по тебе соскучилась! Хороший ты человек, Гройс, таких больше не производят! И Светка хорошая, а ее я, прикинь, совпадение какое – позавчера видела! Полный аут у нее, Гройс! Варька на первом курсе хоро-дирижерского, семнадцать лет и семнадцатая неделя беременности. Еще и веселится при этом, дура такая: «Ты, мать, меня, непутёвую, от непутевого мужа в восемнадцать родила, и я в восемнадцать рожу. Но от хахаля, тоже непутевого. А мне надо классным хормейстером становиться, так что деться, мам, тебе некуда, придется с моим ребеночком помучиться, пока я творческих соков набираться буду». И вот что Светке в этом ауте делать, когда еще и мать ее стала прихварывать? С работы уходить? На одну материнскую пенсию четыре рта кормить? Заикнулась я, было, не надо ли ей сейчас чего подкинуть – так она меня ответным взглядом на конюшню отправила, голой спиной плетки отведать... Гройс, алё, куда намылился? Пойдем посидим, здесь ресторан «Лермонтов» рядом.

<sup>1</sup>Хэсэд (в переводе с древнееврейского «Милость») – система еврейских благотворительных организаций. В разных городах в названии участвует также имя какого-нибудь ветхозаветного персонажа, например, в Петербурге «Хэсэд Авраам», в Воронеже «Хэсэд Нехама» и т.д.

- К ней намылился, – сказал Гройс.
- Во дела! Так я ради такого тебя подвезу.
- Нет, – взмахнул Саша пакетом, тем, что полегче. – Я подъеду на трамвае.

Вышел на той остановке, что видна из окна лаборантской.

Не сомневался, что Светлана в него в эту секунду вглядывается неотрывно, и знал, что она сейчас спешно натягивает куртку и несется по лестнице с четвертого этажа.

Потому и задержался на ступеньках перед входом, чтобы успела.

Вышла, даже выскочила.

Ничего логичного в происходящем не было, сплошь гипертрофированность и смещение реальности – так что автор Саша, написавший когда-то подобного рода пьесу, вел себя, как её персонаж Саша: говорил одно, думал другое, а делал третье.

*Говорил:*

что, рассуждая логически, ей придется уйти с этой бессмысленной работы. Но устроиться на другую, серьезную – значит, дома бывать реже, сильно уставать и по сути бросить внука или внучку на свистушку Варьку и большую мать, а такая парочка – это фактически «произвол судьбы». Поэтому он считает себя обязанным ей помогать, ничего – и это необходимо усвоить накрепко! – не требуя взамен. Помощь выразится в ежемесячном пособии в семьсот долларов (при острой необходимости можно подкидывать и тысячу), но на какое-нибудь еще его участие в их жизни рассчитывать не стоит, поскольку он с утра до позднего вечера будет заниматься с учениками и рыскать по городу в поисках кошерных продуктов для старика отца, Фаддея Израилевича Гройса. Который – дай ему Бог здоровья! – бодр, энергичен и, по-видимому, хочет спровадить сына в лучший мир много раньше, чем сам туда соберется.

*Думал:*

что, рассуждая логически, ее красоту описать невозможно. Форма носа, разрез глаз, рисунок губ, овалы щек, линии шеи, дивные пропорции «телесно-плотско-влекущего» вместо дурацких «90-60-90» – все это может быть другим, но при этом она все равно останется как то, ради чего существуют нелепая страна, суетный мир и преходяще ликующий весенний день. Что в романе «На маяк» нет ни единого слова, уточняющего внешность миссис Рамзи, но все повествование – о красоте, которую она несет как **то**, ради чего выстроено мироздание... Потому и умирает так рано и неожиданно – ведь если **то** начнет увядать, то следом увянут цветы, невыносимый муж, трудолюбивая и недаровитая подруга художница, а также собаки всех пород, кошки всех мастей, рыбы всех расцветок и птицы всех высот полета... но миссис Рамзи уходит внезапно, красота ее исчезает, не успев поблекнуть, **то** просто перестает быть, а взамен просто начинают быть война, смерти детей, обветшалость дома и обрушение мироздания, в котором остается единственная прочность – маяк на острове, куда доставляют все же бутерброды с сыром и шерстяные носки, связанные миссис Рамзи еще тогда, когда слов «хрупкость» и «кратковременность» ни в чьем лексиконе не было.

Что написанное так и о таком не может быть прекрасно, но оно прекрасно.

Как не может быть прекрасна стоящая перед ним женщина тридцати пяти лет, измученная своею крышей, своими мышами и судьбой, в старенькой курточке, дешевых джинсах и сапогах, на которые без слез не глянешь – но она прекрасна...

И он нашел, наконец, образ того огня, что мерцает – нет, сейчас пылает в ее глазах.

*Делал:*

пытался еще раз устремиться на маяк, чтобы превратить жизнь-бездействие в жизнь-действие, и именно в этом она, не вмешиваясь в его словоизвержение и мыслебурление, ему помогла, спросив:

– Рассуждая логически, вы, Александр Фаддеевич, все же делаете мне предложение руки и сердца?

И он ответил:

– Рассуждая логически, да!

В ЗАГСе на вопрос, желает ли она взять фамилию мужа, Светлана ответила:

– Не взять, а присоединить. Хочу быть Курбской-Гройс.

Государева тетка пожала плечами и только было заговорила от имени Российской Федерации, но ее прервал Саша:

– Подождите! Рассуждая логически, я тоже имею право изменить фамилию! Обращаюсь в вашем милом лице ко всей Российской Федерации и прошу впредь именовать меня Гройс-Курбским.

Напросившаяся в свидетельницы Оксана заржала, губы Светланы благодарно приникли к Сашиним губам, а тетка возмутилась:

– Перестаньте целоваться, я еще не объявила вас мужем и женой!

– Ни фига, зачем переставать?! – возразила «мадам его честь». – Они и так почти четырнадцать лет откладывали это со дня на день!

Столкнувшись с Сашей месяца через два после его женитьбы, я обнаружил, что теперь-то пассионарности в нем явно выше нормы.

– Помнишь, – почти кричал (кричал!) он, – я утверждал, будто каждый из нас рождается для того, чтобы делать что-то лучше остальных, и для меня этим лучшим считалось умение быстро решать в уме квадратные уравнения?! Так вот, ничего подобного! Объясняю: Светлана Курбская, ставшая недавно Курбской-Гройс, уик-энды проводит у меня на двенадцатом этаже, горячая вода до которого редко поднималась при Советской власти, и еще реже поднимается теперь. Я, ставший недавно Гройс-Курбским, развожу кипяток в большом зеленом тазу и очень теплой водой поливаю жене голову из голубого ковшика – на срединный пробор, в точке глобального максимума, струей постоянной толщины. Что ты смеешься, дурак?! Дьявольски трудно, чтоб ты знал, терпеливо, ковшик за ковшиком, направлять в одну и ту же точку струю постоянной толщины! У Светы очень густые волосы, но она утверждает, что даже под душем ей не удавалось промывать их так хорошо, понял?! В общем, оказалось, что мое истинное предназначение – лить из голубого ковшика очень теплую воду на доверчиво склоненную женскую головку!

Странно вот что: существуя в основном по своим квартирам, с разными крышами и мышами, судьбу свою эта чудная пара делала все более общей!

Эта чудная пара: Светлана Курбская-Гройс, в тридцать шесть выглядевшая краше, чем в тридцать пять, а в сорок, чем в тридцать шесть, и Александр Гройс-Курбский, напрочь забывший о смолоду обретенной репутации всё понимающего старца, – еще раз подтвердила, что быть вместе гораздо важнее, чем быть рядом.

Варька выбор матери горячо одобрила, тут же стала называть новоявленного отчима «папа Саша», подсуетилась и еще до родов сменила фамилию Чернорукова на Курбская-Гройс. Родила в декабре 2003-го мальчишку, записала его Александром, после чего в мире, наряду с некрикливым Александром Гройс-Курбским, появился Александр Курбский-Гройс, орущий трубно.

В их «медовый год», с понедельника по пятницу каждой недели Светлана честно работала домохозяйкой и бабушкой. Можно даже сказать, отпахивала на совесть, однако в субботу утром целовала внука, дочь и мать с выраженьем на лице: «Свободна, наконец!» – и упархивала к мужу. Уму непостижимо, сколько дел на двенадцатом этаже успевала она переделать, пока он репетиторствовал, переходя-перебегая с одного урока на другой, и, возвращаясь домой, Саша восхищался: квартира блестит, все постирано, многое выглажено, а кухня – неиссякаемый источник ароматов.

Далее, пока в чайниках закипала вода, шел короткий обмен вчерашне-сегодняшними новостям (позавчерашние и более ранние обсуждались, – спасибо мобильникам, – с понедельника по четверг). Потом Саша разводил кипяток в ритуальном зеленом тазу, Светлана вручала мужу ритуальный голубой ковшик – и происходило то, что язык отказывается назвать «головомойкой», а клавиатура – «мытьем головы». Наитие же подсказывает, что творилось священнодействие.

Далее она мылась, а он еще раз кипятил воду, уже для себя; потом мылся он, а она сушила волосы и не просто «приводила себя в порядок», но опять же священнодействовала, пока он подвывал тихонько, мучаясь двумя видами голода.

Потом ужин, во время которого один из видов голода удовлетворялся полнотью, зато другой становился непереносимо острым; а далее... но опустим занавес, негоже создавать впечатление, будто мы подглядывали!

... В воскресенье – неспешное пробуждение и неспешное погружение в то, за чем мы договорились не подглядывать. Потом испуганные возгласы: «Пора вставать, совсем с ума сошли!», но вместо того – потягивания, позёвывания и беседа – покуда накопившая потребность уединиться в туалете не вышвыривала их в жизнь грубее, чем вопль «Подъем!» в тюрьме или казарме. Но оказалось, что когда впереди свободные полдня и вечер, то жизнь, в которую вышвырнули, – это море, в которое, держась за руки, сиганули с мола, пирса или невысокой скалы. И сначала оторопь от глубины, а потом вода становится дружелюбной помощницей во всем: хочешь плыть – плыви, хочешь нырять – ныряй, хочешь ничего не делать – так не делай ничего, поглядывая в небо и слегка шевеля конечностями...

Днем прогулка, если погода хороша; вечером театр или концерт, если обещают поразить чем-то, ради чего стоит пожертвовать милым их сердцам уединением – и как может такое воскресенье не воскресить для исполнения изматывающих обязанностей?

А следующий год, в начале которого умер отец Саши, стал, как ни дико это звучит, еще более медовым. Впрочем, нет ничего дикого в том, чтобы сказать вслед ушедшему «Спасибо» – вот и Гройс-Курбский мысленно поблагодарил отца за то, что не будет более донимать скандалами, и простил его за мать, не узнавшую подобное счастье до последнего своего вздоха.

Община просила, чтобы габая хоронили в строгом соответствии с ритуалом, но Саша возразил, что ортодоксом Фаддей Израилевич стал в последние десять лет жизни, а человеком войны был со времен своей полу-уголовной юности. И впервые за все время существования еврейского кладбища на нем прозвучал прощальный воинский салют, и Саше почудилось, что из закрытого гроба донеслось ответное позвякивание орденов и медалей – как будто отец глубоко вздохнул, удовлетворенный залпами, еще более громкими, нежели его вопли.

И этот гром повлек за собою не разгром-погром, а их противоположность: жизнь пошла-поехала еще бодрее и веселее. Освободилось время, которое Саша тратил на поиски кошерных продуктов и на какой-никакой уход за инвалидом войны, так и не смирившимся с тем, что наступил мир. Стало возможным набрать еще четырех учеников, но появился свободный вечер, который можно было проводить не под командные окрики отца, а в доме у Светланы, где Саша охотно играл с тезкой, любезничал с тещей и уговаривал падчерицу ценить не только хоры – объекты творческих устрем-

лений, но и хористов-хористок, эти объекты формирующих. Описывал участие хоров в античных спектаклях и мистериях так красочно, что Варька слушала, по-детски приоткрыв рот, и сердилась на мать, бабушку и сына, которых любила бы еще сильнее, догадайся они не отвлекать папу Сашу от рассуждений о самом для нее важном.

Во-вторых, Светлана организовала ремонт квартиры свекра, переселила в нее Сашу, его однокомнатную удачно продала и с гордостью князя Андрея Курбского продемонстрировала выписку из мужнина банковского счета. Но главное, на двухсуточное жительство у Саши-старшего ей стало возможно брать с собою иногда Сашку-младшего, тем паче, что пацанёнок бывал от этого счастлив и, слушая разглагольствования деда, развивался гораздо быстрее, нежели от общения с косноязычными нянями.

А потом, уложив на ночь «мелкого» в спальне, подпирали дверь в большую комнату громоздким креслом, в котором (или прямо на полу) воплощались в семейное счастье лучшие страницы «Камасутры»...

И еще: в новую квартиру, на четвертый этаж, горячая вода поднималась – так что же, побоку зеленый таз, голубой ковшик и священнодействие? Э, нет! Вода добиралась до крана, изрядно потеряв в напоре, а потому таз и ковшик остались при деле, и лишь для чайников «вышло послабление».

Да и в последующие годы не было в браке Гройс-Курбский – Курбская-Гройс ни капли горечи, хотя медом жизнь зачастую не казалась. В 2007-м ненадолго слегла мать Светланы – и умерла, почти не причинив хлопот и сожалея лишь о том, что муж не успел порадоваться правнуку, и не довелось ей побывать в Алтыгаче, городке в Азербайджане, развившемся из села, основанного ее предками молочанами в тридцатые годы XIX века. «Там, говорят, красиво, – повторяла она Светлане, – розовые горы, розовое озеро, густой лес. А еще в Баку есть сквер, называется Молоканский... Ты обязательно должна это повидать, и Варя тоже, и Сашка, и Саша... Поклонитесь всему этому от меня».

И они, справив сорок дней, поехали – как раз в сентябре, когда погода в Азербайджане благословенна. Поклонились, восхитились, заехали ненадолго в Грузию, где тоже восхитились и где Варя, слушая хоры, рыдала и повторяла слова Баха о том, что такое пение – это коллективное общение с Богом...

А потом, в 2008-м, уже со слезами ярости, заявила матери и отчиму, что не желает жить в стране, которая осмелилась воевать с **так** поющим народом.

– Варенька, рассуждая логически, – вяло возразил Гройс, – в гитлеровской Германии осталось много великолепных оркестров, но ведь и мы, и союзники, не принимая это во внимание, громили ее нещадно.

– Не рассуждай так, Варя, – вступила Светлана, и впервые за дни, прожитые в браке, Саше показалось, что с ними говорит сам князь Курбский. – Оркестр, подчинившийся запрету на исполнение Чайковского, Малера, Равеля и прочей неарийской музыки, превращается в умеющий музицировать сброд, который надо громить наряду с прочим сбродом. Поезжай, доченька, о Сашке не беспокойся, вырастим.

– Конечно, – поспешно согласился Саша, – обнулим мой счет, накупим евро, первый год нужды знать не будешь, а там посмотрим...

Но долго «смотреть» не пришлось: Варька, с ее поначалу куцым, но быстро крепнущим немецким, почти сразу пристроилась на небольшую зарплату в детскую хоровую студию... а уже в самом конце декабря 2012-го прислала сыну и родителям ссылку на запись Рождественского вечера в знаменитом Кельнском соборе, где руководимые ею детский и мужской хоры исполняли «O, Tannenbaum» и «Stille Nacht, heilige Nacht»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Рождественские песни на немецком языке.



И Сашка целовал то бабушку, то деда Сашу, плакавших вместе с собравшимися в соборе, когда детские голоса, словно бы подброшенные ввысь басовыми вздохами мужского хора, зазвучали с раздирающей сердце нежностью.

Варька стала после этого европейской, а потом и мировой знаменитостью. Ее наперебой зазывали приглашенным хормейстером лучшие капеллы и оперные театры мира, благодаря ей вне России появились постановки «Бориса Годунова», «Хованщины» и лучших опер Римского-Корсакова с их мощными хоровыми фрагментами.

Звонила из самых разных «точек на глобусе», залетала на несколько дней в родной город, тараторила, как обожает маму и папу Сашу, утешала сына, что терпеть ему всего лет несколько, зато потом будет учиться хоть в Геттингене, хоть в Сорбонне – «только языки учи!»

Она щедро делилась заработанным, и Саша, в принципе, от половины, а то и больше учеников мог бы уже отказаться. Но разве можно не исполнять своих обязанностей, а жить результатами «исполнения обязанностей» приемной дочерью? По-прежнему, но теперь уже стильно одетый, ходил, а не ездил по ученикам. И не жевал на улице захваченный из дому бутерброд, а заглядывал в рестораны. Еда там, в сравнении со стряпней жены, была так себе, но съедал он все «подчистую», а потом, стесняясь своего несоответствия обстановке, оставлял по-купечески размашистые чаевые. И думал: «Я говорил ей когда-то, как тосклив звон наших вериг, отлитых из неприкаянности и одиночества. Зато теперь от нас исходит веселое звяканье колокольчиков, которые вешают на шеи швейцарских коров, выпуская их на зазеленевшие альпийские луга!»

И этот образ нравился ему гораздо больше всего афористичного и парадоксального, придуманного ранее.

### **Эпилог, часть первая: после грома-разгрома-погрома**

Проклятым для них (и только ли для них?) оказался 2014 год. Во вторник 29 июля, ровно через сто лет после объявления императорской Россией всеобщей мобилизации, Светлана сообщила мужу, что у нее онкология.

Взяв полуторанедельную паузу в исполнении контракта, из Аргентины примчалась Варька.

– Вот и хорошо, что папа Саша тебя вызвал, – встретила ее мать, – сразу заберешь сына. И не надо предлагать мне лучшие клиники Германии, Израиля или Штатов. Дело даже не в том, что забросать будущую могилу купюрами не удавалось еще никому, а в том, что я с детства терпеть не могла убежать, зная, что меня все равно догонят. И ты, кстати, такая же, поэтому в «ловитки» никогда не играла. А ты, Саша, играл?

– Вот еще, – пробормотал Гройс, – ведь это требовало действия.

И Варька вскоре уехала, и Сашку увезла, благо, ничьего согласия спрашивать на это не требовалось – второй родитель в свидетельстве о его рождении зафиксирован не был, поскольку исчез бесследно.

Гройс-Курбский отказался от всех учеников и стал отменной сиделкой, хотя Светлана до последнего дня обихаживала себя сама – *канцер* к потомнице рыцаря, князя Курбского, оказался по-рыцарски великодушен. Поэтому долго хватало таблеток кеторола, и лишь в последние три недели пришлось перейти на инъекции.

А Саша все это время любовался красотой жены – как костром, который перед тем, как исчезнуть, взмётывает столб пламени в непреклонно черное небо; как маяком, который особенно ярко в чудовищную бурю.

После похорон Варька встала перед Гройсом на колени.

– Папа Саша, я вела себя, как эгоистичная сука. Дай возможность искупить, поехали со мной! Мы с Сашкой пылинки с тебя сдувать будем... Хочешь, я тебе женой стану? Как мама...

– Нет, Варенька, «как мама» могла быть только мама. А не «как мама» – это для меня «никак». И не казни себя, мы исполняли свои обязанности **во время** грома-разгрома-погрома, а теперь, уцелевшие, будем исполнять **после**.

И исполняет вплоть до сегодняшнего дня. Летом недельки на две-три наезжают Варька с Сашкой. Живут в «сталинке», и продавать ее Варька категорически не хочет – как можно без гнезда, старого, но все равно родного? Гройса с собой больше не зовет, но, обнимая на прощанье в аэропорту, шепчет: «Ах, папа Саша, папа Саша, как же я маму понимаю, что ты для нее единственным стал...». Вернувшись домой, Саша разглядывает в зеркале свое ветшающее лицо и удивляется: «Вот **это** признавать единственным?! Рассуждая логически – сущее безумие!»

И приступает к исполнению обязанностей... вот только переход от бездействия к действию дается ему все труднее. Часто занимается не за деньги, которых скопил достаточно, а подобно нищим дореволюционным студентам – «за харч»; мамы учеников и учениц – как правило, те, что посимпатичнее и подомовитее, – кормят его обедом (все лучше, чем в ресторанах, хотя до Светланы всем им – как до небес) и, прощаясь, накладывают в контейнеры что-нибудь вкусненькое на ужин.

Так что к плите своей он теперь почти не подходит, разве что ради чая-кофе.

В одно из воскресений месяца за ним заезжает на своем «Лэнд Ровере» Оксана, и они отправляются в ее загородный коттедж. Там обедают, потом он усаживает давно уже перенесшего инсульт «его честь» в инвалидное кресло и везет на долгую прогулку. А Оксана идет рядом и тарыхтит о всякой всячине, например:

– Телевизор стало смотреть невозможно. Такое впечатление, будто газы у всех у них проникают из брюха прямо в мозг и гортань! Раньше на экране были сплошные «говорящие головы», а теперь сплошняком – пердящие рты.

Гройс согласно кивает головой, но думает при этом о своем, например: «У нас есть министерство обороны, но тогда кто же ведает нашими многочисленными нападениями?»

И «его честь» думает о своем, например, о том, как донимают его порывы ветра с каплями дождя, однако он не позволит себе на эти пакости злиться. Ведь Верховный суд разьяснил, что у природы нет плохой погоды, и не учитывать его мнение – не процессуально. И спроси его тот зануда, что толкает сейчас коляску: «Все ли ваши приговоры были справедливы?», он ему ответит: «Они были безукоризненно процессуальны!»

... А на прощанье Оксана непременно говорит:

– Переселился бы ты, Гройс, в мою хату, бросил бы по ученикам таскаться и по Светке вздыхать. Не думай, мне от тебя не трах нужен, а чтоб было с кем поговорить по-человечески.

А он неизменно отвечает:

– Мне, милая, сейчас легче трах изобразить, чем говорить по-человечески!

## **Эпилог, часть вторая: «Где-то возле Огненной Земли...»**

Эпилог – это как лестница, по которой спускаешься, готовясь – и одной из ее ступенек стало 22.02.2022. Это нарочито симметричное сочетание двоек и нулей ничего доброго не сулило, но именно в этот день семидесятилетний Саша вдруг решил, что в исполнение его обязанностей входит написание то ли повести, то ли пьесы, в которой имена героини и героя придумывать не придется, а ключевая глава будет посвящена близкому к Рождеству вечеру 2014 года.

Саша сказал тогда жене, что заметил, как она несколько раз морщилась от боли, и слышал, как попискивает – тише, впрочем, любой их общей мыши, а она, еще пытаясь быть легкой в общении, ответила, что гордится глазастостью и ушастостью мужа.

И ловкостью дочери, которая умудрилась пристроить несколько ампул с чудодейственным обезболивающим в декорации какого-то приехавшего в Москву на гастроль театра, – гордится тоже.

Но что, наверное, пора все же делать укол, поскольку боль, если честно, понимает черт-те как сильно.

И Саша подошел к туалетному столику, на котором горела лампа под синим абажуром, сменявшим обычный матовый плафон во дни и ночи чьих-нибудь болезней – он появился в их доме лет десять назад, когда жена вспомнила, что когда-то синий свет считался стойкой защитой от бактерий, микробов и вирусов.

Подошел – и принялся подготавливать инъекцию, приговаривая:

– Чуть-чуть потерпи – и часа четыре спокойного сна тебе обеспечены. А среди ночи встану и сделаю еще укол.

– У меня есть замечательная идея, – сказала Светлана тем своим тоном, который всегда побуждал искать истинный смысл произносимого. – Зачем нам просыпаться среди ночи – мне скулить, а тебе хлопотать? Вколи сейчас двойную дозу – и мне будет обеспечен долгий крепкий сон.

Саша, стараясь унять дрожь в руках, отложил в сторону шприц.

Повернулся к кровати:

– А мне что будет обеспечено?

– Спокойствие... Через некоторое время...

– Не на-а-до!!!

Это он прокричал – и куда делась его страсть к парадоксам, его вечное стремление облекать все обыденное в форму непременно «изячную», с виньеткой и упаковкой? И не принял он во внимание, что не бывает в жизни человеческой крика напраснее – неважно, к кому он обращен: к маме, врачу или Богу.

– Я тебя умоляю...

Откуда она взяла силы стать на миг предком своим, Андреем Михайловичем Курбским? Как смогла произнести «**Я тебя умоляю...**» на манер приказа, которым князь послал свежий полк в проем взорванной крепостной стены – и люди пошли, уповая на то, что защитникам города еще страшнее.

Пошли, веря, что во все будущие времена их будут поминать во всех, какие есть, церквях... но не в силах предугадать, что чаемое ими поминание сведется к разудалой песне пьяного монаха<sup>1</sup>.

Или все не так? Или всего только на секунду поддался Саша той силе, что исходила когда-то от князя Курбского и сохранилась даже в отдаленных его потомках?

Может быть, отодвинул он подальше пятиграммовый шприц и взялся за десятиграммовый потому, что вспомнил, как в октябре 41-го, когда танковой и моторизованной дивизиям СС оставалось до Москвы полсутки не очень спешного хода, а дорогу им не преграждал никто, кроме трех тысяч плохо вооруженных и совсем еще «зеленых» подольских курсантов, на их не подготовленные для длительной обороны позиции приехал почерневший от понимания ужаса ситуации Жуков. И сказал: «Ребята, я вас умоляю, продержитесь хотя бы трое суток».

<sup>1</sup> «Как во городе было во Казани».. Пушкин в «Борисе Годунове» тактично привел лишь эти слова, но в одноименной опере Мусоргского исполненный пьяной удали монах Варлаам поет ее целиком. И действительно, в тексте о погибших нет ни слова – в нем, в основном, о том, как страдал Грозный, уязвленный упорством защищающих город «злых татар». Что-то это нам ныне, весной 2022 года, напоминает, не правда ли?

«И кто знает, – думал Саша, набирая жидкость из двух ампул, – может, не продержались бы они, и не была бы спасена Москва, если б известный своей крутостью генерал рывкнул бы привычное: «Приказываю!» Но он сказал: «Я вас умоляю», и вроде бы даже голос его тогда дрогнул».

А когда шел к кровати навстречу благодарной улыбке жены, то решил, что если она, получив двойную дозу сильного наркотика, вдруг испугается и скажет, что еще не хочет **так** засыпать, то ему не останется ничего иного, как сделать такой же укол себе и уснуть вместе с нею... Но она не испугалась, а только попросила:

– Ляг рядышком.

И когда он лег, придвинулась поближе, коснулась его холодной руки своею пылающей рукой и сказала:

– Ты когда-то обещал рассказать, какое сравнение для моих глаз придумал у входа в институт, в ту самую минуту, когда между нами все наконец решилось. Все недосуг было рассказать, да? Но теперь-то время пришло?

И он заговорил, как всегда, увлекаясь – ведь говорение сладостно, когда его слушает она или ныне далекая Варька, или уехавший с нею полгода назад Сашка... и какая жалость, что его никогда не слушали собравшиеся вместе все его любимые, включая несправедливо рано ушедших тещу и маму...

**САША.** Да, правда, пришло время рассказать, как 20 сентября 1819 года наряженная работница табачной фабрики Лусия, известная всей Севилье красотой и буйной склонностью к любви и скандалам, явилась на берег Гвадалквивира, дабы помахать батистовым платочком вслед отплывающему в Бог знает какую даль линейному кораблю «Princessa».

Зрелище, – конечно же, отплытия, а не помахивания, – обещало быть из редких. Тем паче, что случайно оказавшийся рядом крепкого телосложения сеньор с навсегда обветренным лицом учтиво отрекомендовался бывшим моряком, тяжело раненным при Трафальгаре<sup>1</sup>, и пояснил: торжество посвящено трехсотлетию юбилею начала кругосветного плавания адмирала Фернана Магеллана, хоть и португальца, но именно Испании доставившего честь открытия шарообразности Земли.

– Чего-чего Земли? – не поняла Лусия.

– Шарообразности, – повторил бывший моряк. – Видите ли, превосходная моя сеньорита, Земля, по которой ступают ваши божественные ножки, кругла, как ваши же божественные щечки.

– Вот еще, – фыркнула Лусия, – если она так кругла, то почему мы по ней ходим, не падая?! Я, сеньор, – твердая в вере католичка, и ваши заслуги перед Испанией не помешают мне сообщить Святейшей инквизиции о только что услышанном святотатстве!

Но не отошла и не отвернулась, ибо невеста о чем толкующий бывший моряк выглядел как кабаљеро, достойный любви. Много достойней, нежели имевшиеся у нее раньше «дружки»: один – дезертир и контрабандист, другой – неудачливый, спивающийся матадор.

– Так-так-так, – перебила его жена уже не таким надломленным голосом, а рука ее уже отдала Сашиной руке часть своего горячечного жара. – Ты, дорогой мой, украл у Мериме его историю?

– Как можно?! Это он, а потом еще и Бизе, надуманными цыганскими страстями, хабанерами и сегидильями всему миру голову заморочили. Мне ли не знать, как все происходило?! Ведь Лусия, чье имя переводится с испанского как «свет», – это была ты, Светлана, а моряк Алехандро с обветренным лицом – я!

<sup>1</sup> В битве близ мыса Трафальгар эскадра Нельсона разгромила не просто французский, а объединенный франко-испанский флот.

– Извращенец, – усмехнулась Светлана уже сквозь дрему, – не знала я, что ты все одиннадцать лет любил во мне севильскую шлюшку...

**САША.** Протестую! Вовсе она не шлюшка, а потенциально очень нравственная сеньорита! Просто жизнь ее до того дня так по-дурачки складывалась... Впрочем, моряку Алехандро на ее моральный облик было плевать, он под ее взглядами чувствовал, что земля – неважно, шарообразная или плоская, – швыряет его сбоку-набок и вверх-вниз, как волны у мыса Трафальгар.

Но – вопреки этой жестокой качке – все рассказывал, рассказывал, рассказывал...

Что в шарообразности Земли уже не сомневаются ни Его Святейшество папа, ни все кардиналы католического мира.

Что долгих два года Магеллан направлял свою эскадру вдоль восточного побережья Америки на юг, упорно на юг, веря, что есть пролив из Атлантического океана в другой, еще необъятнее.

Что боялся радоваться, когда удалось свернуть круто на запад, ибо не знал, не упрутся ли корабли в какие-то Сатаной подsunутые скалы. Но нет, на тридцать восьмой день они вышли на простор Великого океана.

Что и сам он, Алехандро, проплыл по извилистому проливу, названному именем славного адмирала, и свидетельствует: нет и не может быть мест мрачнее. И единственное там спасение от безумия – ночные огни слева по борту. Это, да будет превосходной сеньорите известно, костры, которые разжигают индейцы, но Магеллан счел их вырывающимися наружу языками вулканического пламени и решил, что этими спасительными маяками сам Господь направляет моряков во мраке беспросветных ночей. Потому-то сей архипелаг и назван Огненной Землей.

– И в ваших глазах, превосходная сеньорита, те же спасительные маяки...

И умолк, не зная, как закончить монолог...

Но за него это сделал гром пушек, салютующих линейному кораблю «Princessa», спускающемуся по Гвадалквивиру, дабы пуститься в великий путь эскадры Магеллана.

И этот гром не рифмовался с «разгром-погром», а звучал, как перезвон колоколов в честь будущего венчания Лусии и Алехандро...

Подумал, что Светлана его уже не слышит, но она вдруг спросила:

– Как ты думаешь, мы узнали друг друга с первого взгляда?

– Да, – ответил Саша, – рассуждая логически, так оно и есть.

Через полчаса, когда дыхание жены стало неслышным, Саша поднялся и включил верхний свет. Светлана чуть улыбалась, будто говоря: «Ты не очень-то горюй, ведь через сто семьдесят лет мы опять узнаем друг друга с первого взгляда!»